



## Н. В. ГОГОЛЬ

### О лиризме наших поэтов

Поведем речь о статье, над которою произнесен смертный приговор, то есть о статье под названием: «О лиризме наших поэтов». Прежде всего благодарность за смертный приговор! Вот уже во второй раз я спасен тобою, о мой истинный наставник и учитель! Прошлый год твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотел послать Плетневу в «Современник» мои сказания о русских поэтах<sup>1</sup>; теперь ты вновь предал уничтожению новый плод моего неразумия. Только один ты меня еще останавливаешь, тогда как все другие торопят неизвестно зачем. Сколько глупостей успел бы я уже наделать, если бы только послушался других моих приятелей! Итак, вот тебе прежде всего моя благодарственная песнь! А затем обратимся к самой статье. Мне стыдно, когда подумаю, как до сих пор еще я глуп и как не умею заговорить ни о чем, что поумнее. Всего нелепее выходят мысли и толки о литературе. Тут как-то особенно становится все у меня напыщено, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выражением вызвал на противоречие. Вновь повторяю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносове и Державине, даже у Пушкина слышится этот строгий лиризм повсюду, где ни коснется он высоких предметов. Вспомни только стихотворенья его: к пастырю Церкви<sup>2</sup>, «Пророк» и, наконец, этот таинственный побег из города<sup>3</sup>, напечатанный уже после его смерти. Перебери стихи Языкова и увидишь, что он всякий

раз становится как-то неизмеримо выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется к чему-нибудь высшему. Приведу одно из его даже молодых стихотворений, под названием «Гений»; оно же не длинно:

Когда, гремя и пламенея,  
Пророк на небо улетал,  
Огонь могучий проникал  
Живую душу Елисея.  
Святыми чувствами полна,  
Мужала, крепла, возвышалась,  
И вдохновеньем озарялась,  
И Бога слышала она.  
Так гений радостно трепещет,  
Свое величье познает,  
Когда пред ним гремит и блещет  
Иного гения полет.  
Его воскреснувшая сила  
Мгновенно зреет для чудес,  
И миру новые светила —  
Дела избранника небес.

Какой свет и какая строгость величия! Я изъяснял это тем, что наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновенье с верховным источником лиризма — Богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской природы уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему. Я сказал, что два предмета вызывали у наших поэтов этот лиризм, близкий к библейскому. Первый из них — *Россия*. При одном этом имени как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, все становится у него шире, и он сам как бы облекается величием, становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то более, нежели обыкновенная любовь к отечеству. Любовь к отечеству отозвалась бы приторным хвастаньем. Доказательством тому наши так называемые квасные патриоты: после их похвал, впрочем довольно чистосердечных, только плюнешь на Россию. Между тем заговорит Державин о России — слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России. Одна простая любовь к отечеству не дала бы сил не только Державину, но даже и Языкову выражаться так широко и торжественно всякий раз, где ни коснется он России. Например, хоть бы в стихах, где он изображает, как наступил было на нее Баторий:

...Повелительный Стефан  
В один могущественный стан  
Уже сбирал толпы густые —

Да ниспровергнет псковитян,  
Да уничтожится Россия!  
Но ты, к отечеству любовь,  
Ты, чем гордились наши деды,  
Ты ополчилась. Кровь за кровь —  
И он не праздновал победы!<sup>4</sup>

Эта богатырски трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России, рождается от невольного прикосновения мысли к верховному Промыслу, который так явно слышен в судьбе нашего отечества. Сверх любви участвует здесь сокровенный ужас при виде тех событий, которым повелел Бог совершиться в земле, назначенной быть нашим отечеством, прозрение прекрасного нового здания, которое покамест не для всех видимо зиждется и которое может слышать всеслышающим ухом поэзии поэт или же такой духовидец, который уже может в *зерне* прозревать его *плод*. Теперь начинают это слышать понемногу и другие люди, но выражаются так неясно, что слова их похожи на безумие. Тебе напрасно кажется, что нынешняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущем России, следует какому-то модному поветрию. Они не умеют вынашивать в голове мыслей, торопятся их объявлять миру, не замечая того, что их мысли еще глупые ребенки, вот и все. И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг: из них один только бывал избранник Божий, которого сказанья вносились в святую книгу еврейского народа; все же прочие, вероятно, наговаривали много лишнего, но тем не менее они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умели сказать здраво и ясно; иначе народ побил бы их камнями. Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? — Затем, что сильнее других слышит Божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближенье иного Царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов. И этого не может быть у поэтов, других наций, как бы ни сильно они любили свою отчизну и как бы ни жарко умели выражать такую любовь свою. И в этом не спорь со мною, прекрасный друг мой!

Но перейдем к другому предмету, где также слышится у наших поэтов тот высокий лиризм, о котором идет речь, то есть — *любви к царю*. От множества гимнов и од царям поэзия наша, уже со времен Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выражение. Что их чувства искренни — об этом нечего и говорить. Только тот, кто наделен мелочным остроумием, способным на одни мгновенные, легкие соображенья, увидит здесь лесть и желанье получить

что-нибудь, и такое соображение оснует на каких-нибудь ничтожных и плохих одах тех же поэтов. Но тот, кто более нежели остроумен, кто мудр, тот остановится перед теми одами Державина, где он очерчивает властелину широкий круг его благотворных действий, где сам, со слезою на глазах, говорит ему о тех слезах, которые готовы заструиться из глаз, не только русских, но даже бесчувственных дикарей, обитающих на концах его империи, от одного только прикосновенья той милости и той любви, какую может показать народу одна полномощная власть. Тут многое так сказано сильно, что если бы даже и нашелся такой государь, который позабыл бы на время долг свой, то, прочитавши сии строки, вспомнит он вновь его и умилился сам перед святостью званья своего. Только холодные сердцем попрекнут Державина за излишние похвалы Екатерине; но кто сердцем не камень, тот не прочтет без умиленья тех замечательные строф, где говорит, что если и перейдет его мраморный истукан в потомство, так это потому только,

Что пел я россов ту царицу,  
Какой другой нам не найти  
Ни здесь, ни впредь в пространном мире:  
Хвались, хвались моя тем лира!<sup>5</sup>

Не прочтет он также без непритворного душевного волненья сих уже почти предсмертных стихов:

Холодна старость дух, у лиры глас отъемлет:  
Екатерины муза дремлет.  
...Петь  
Уж не могу. Другим певцам греметь  
Мои оставлю ветхи струны.  
Да черплют вновь из них перуны  
Тех чистых пламенных огней,  
Как пел я трех царей<sup>6</sup>.

Старик у дверей гроба не будет лгать. При жизни своей носил он, как святыню, эту любовь, унес и за гроб ее, как святыню. Но не об этом речь. Откуда взялась эта любовь? — вот вопрос. Что весь народ слышит ее каким-то сердечным чутьем, а потому и поэт, как чистейшее отражение того же народа, должен был ее услышать в высшей степени — это объяснит только одну половину дела. Полный и совершенный поэт ничему не предается безотчетливо, не проверив его мудростию полного своего разума. Имея ухо слышать вперед, заключа в себе стремление воссоздавать в полноте ту же вещь, которую другие видят отрывочно,

с одной или двух сторон, а не со всех четырех, он не мог не прозревать развития полнейшего этой власти. Как умно определял Пушкин значение полномочного монарха и как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномочной власти. Государство без полномочного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, «верховодец верховного согласия!» Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значенье великих истин! Это внутреннее существо — силу самодержавного монарха он даже отчасти выразил в одном своем стихотворении, которое между прочим ты сам напечатал в посмертном собрание его сочинений, выправил даже в нем стих, а смысла не угадал. Тайну его теперь открою. Я говорю об оде императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: «К Н\*\*\*»<sup>7</sup>. Вот ее происхождение. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралось; но государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул «Илиаду» и увлекся нечувствительно ее чтением во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принесся на лице своем следы иных впечатлений. Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатление, и плодом его была следующая величественная ода, которую повторю здесь всю, она же вся в одной строфе:

С Гомером долго ты беседовал один,  
Тебя мы долго ожидали.  
И светел ты сошел с таинственных вершин  
И вынес нам свои скрыжали.  
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,  
В безумстве суетного пира,  
Поющих буйну песнь и скачущих кругом  
От нас созданного кумира.  
Смутились мы, твоих чуждаясь лучей,  
В порыве гнева и печали  
Ты проклял нас, бессмысленных детей,  
Разбив листы своей скрыжали.  
Нет, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты  
Сходить под тень долины малой,  
Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты  
Журчанью пчел над розой алой.

Оставим личность императора Николая и разберем, что такое монарх вообще, как Божий помазанник, обязанный стремиться вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог, и вправе ли был Пушкин уподобить его древнему боговидцу Моисею? Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, кто страшную ответственность за них пред Богом освобожден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданиями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий, — тот может быть уподоблен древнему боговидцу, может, подобно ему, разбить листы своей скрыжали, проклявши ветрено-кружащееся племя, которое, наместо того чтобы стремиться к тому, к чему все должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, от себя самих созданных кумиров. Но Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у небес немоцное бессилие человечества, вымолило ее криком не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви Божией, которая бы все умела простить нам — и забвенья долга нашего, и самый ропот наш, — все, что не прощает на земле человек, чтобы один затем только собрал свою власть в себя самого и отделился бы от всех нас и стал выше всего на земле, чтобы чрез то стать ближе равно ко всем, снисходить с вышины ко всему и внимать всему, начиная от грома небес и лиры поэта до незаметных увеселений наших.

Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкин, задавши вопрос себе самому, что такое эта власть, сам же упал во прах перед величием

возникнувшего в душе его ответа. Не мешает заметить, что это был тот поэт, который был слишком горд и независимостью своих мнений, и своим личным достоинством. Никто не сказал так о себе, как он:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  
К нему не зарастет народная тропа:  
Вознесся выше он главою непокорной  
Наполеонова столпа.

Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты<sup>8</sup>; но положим, если бы даже стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил бы доказательством, и даже еще большим, как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество, как человека, перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость званья своего перед званием венценосца и умел благоговейно поклониться пред теми из них, которые показали миру величество своего званья.

Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен наконец сделаться весь одна *любовь*, и таким образом станет видно всем, почему государь есть образ Божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша. Значенье государя в Европе неминуемо приблизится к тому же выраженью. Все к тому ведет, чтобы вызвать в государях высшую, Божескую любовь к народам. Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов, и мечется, бедный, не зная сам, как и чем себе помочь: всякое постороннее прикосновение жестоко разболевшимся его ранам; всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилятся наконец до того, что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такую, какую никогда еще не загорался. Из нас, людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже поставлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Всё полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и званья, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству и которого прикосновение будет не жестоко его ранам, который один может только внести примиренье во все сословия и обратить в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх

высшее значенье свое — быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь. В Европе не приходило никому в ум определять высшее значенье монарха. Государственные люди, правоискусники и правоведы смотрели на одну его сторону, именно, как на высшего чиновника в государстве, поставленного от людей, а потому не знают даже, как быть с этой властью, как ей указать надлежащие границы, когда, вследствие ежедневно изменяющихся обстоятельств, бывает нужно то расширить ее пределы, то ограничить ее. А через это и государь и народ поставлены между собой в странное положение: они глядят друг на друга чуть не таким же точно образом, как на противников, желающих воспользоваться властью один на счет другого. Высшее значенье монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю Бога создать ее в России в ее законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только излетает из уст их слово царь. Его слышат у нас и не поэты, потому что страницы нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да образуется в России эта власть в ее полном и совершенном виде. Все события в нашем отечестве, начиная от порабоженья татарского, видимо, клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвести этот знаменитый переворот всего в государстве, все потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в себе самом ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул царь в своем государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этою святою бранью и все придет в сознание сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия. Смотри также, каким чудным средством, еще прежде, нежели могло объясниться полное значение этой власти как самому государю, так и его подданным, уже брошены были семена взаимной любви в сердца! Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве<sup>9</sup> принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданным. Любовь вошла в нашу кровь, и завязалось у нас всех кровное родство с царем. И так слился и стал одноедино с подвластным повелитель, что нам всем теперь видится всеобщая беда — государь ли позабудет своего подданного и отрешится от него или подданный позабудет своего государя и от него отрешится. Как явно тоже оказывается воля Бога — избрать для этого фамилию Романовых, а не другую! Как непостижимо это возведение на престол никому не известного отрока! Тут же рядом стояли древнейшие родом, и притом мужи доблести, которые только что спасли свое отечество: Пожарский, Трубецкой, на-



конец князья, по прямой линии происходившие от Рюрика. Всех их мимо произошло избрание, и ни одного голоса не было против: никто не посмел предъявлять прав своих. И случилось это в то смутное время, когда всякий мог вздорить, и оспаривать, и набирать шайки приверженцев! И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линии родственником царю, от которого недавний ужас ходил по всей земле<sup>10</sup>, так что не только им притесняемые и казнимые бояре, но даже и самый народ, который почти ничего не потерпел от него, долго повторял поговорку: «Добро была голова, да слава Богу, что земля прибрала». И при всем том все единогласно, от бояр до последнего бобыля, положило, чтоб он был на престоле. Вот какие у нас делаются дела! Как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов, которые слышали полное определение царя в книгах Ветхого Завета и которые в то же время так близко видели волю Бога на всех событиях в нашем отечестве, — как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов не был исполнен библейских отголосков? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобы облечь такую суровую трезвостью их звуки: для этого потребно полное и твердое убеждение разума, а не одно безотчетное чувство любви, иначе звуки их вышли бы мягкими, как у тебя в прежних твоих молодых сочинениях, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нет, есть что-то крепкое, слишком крепкое у наших поэтов, чего нет у поэтов других наций. Если тебе этого не видится, то еще не доказывает, чтобы его вовсе не было. Вспомни сам, что в тебе не все стороны русской природы; напротив, некоторые из них взошли в тебе на такую высокую степень и так развивались просторно, что через это не дали места другим, и ты уже стал исключением из общерусских характеров. В тебе заключились вполне все мягкие и нежные струны нашей славянской природы; но те густые и крепкие ее струны, от которых проходит тайный ужас и содроганье по всему составу человека, тебе не так известны. А они-то и есть родники того лиризма, о котором идет речь. Этот лиризм уже ни к чему не может возноситься, как только к одному верховному источнику своему — Богу. Он суров, он пуглив, он не любит многословия, ему приторно все, что ни есть на земле, если только он не видит на нем напечатления Божьего. В ком хотя одна крупица этого лиризма, тот, несмотря на все несовершенства и недостатки, заключает в себе суровое, высшее благородство душевное, перед которым дрожит сам и которое заставляет его бежать от всего, похожего на выражение признательности со стороны людской. Собственный лучший подвиг ему вдруг опротивеет, если за него последует ему какая-нибудь награда: он слишком чувствует, что все высшее должно быть выше награды. Только по смерти Пушкина обнаружались его истинные отношения к государю и тайны двух его лучших сочинений<sup>11</sup>. Никому не говорил он при жизни о чувствах, его наполнявших, и поступил умно. После того как вследствие

всякого рода холодных газетных возгласов, писанных слогом помадных объявлений, и всяких сердитых, неопратно-запальчивых выходов, производимых всякими квасными и неквасными патриотами, перестали верить у нас на Руси искренности всех печатных излияний, — Пушкину было опасно выходить: его бы как раз назвали подкупным или чего-то ищущим человеком. Но теперь, когда явились только после его смерти эти сочинения, верно, не отыщется во всей России такого человека, который посмел бы назвать Пушкина льстецом или угодником кому бы то ни было. Чрез то святыня высокого чувства сохранена. И теперь всяк, кто даже и не в силах постигнуть дело собственным умом, примет его на веру, сказавши: «Если сам Пушкин думал так, то уж, верно, это сущая истина». Царственные гимны наших поэтов изумляли самих чужеземцев своим величественным складом и слогом. Еще недавно Мицкевич сказал об этом на лекциях Парижу<sup>12</sup>, и сказал в такое время, когда и сам он был раздражен противу нас, и всё в Париже на нас негодовало. Несмотря, однако ж, на то, он объявил торжественно, что в одах и гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого, но, напротив, что-то свободно-величественное: и тут же, хотя это не понравилось никому из земляков его, отдал честь благородству характеров наших писателей. Мицкевич прав. Наши писатели, точно, заключили в себя черты какой-то высшей природы. В минуты сознания своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальством, если бы их жизнь не была тому подкрепленьем. Вот что говорит о себе Пушкин, помышляя о будущей судьбе своей:

И долго буду тем народу я любезен,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
Что прелестью живой стихов я был полезен  
И милость к падшим призывал<sup>13</sup>.

Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет. Как он весь оживлялся и вспыхивал, когда шло дело к тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему! Как выжидал он первой минуты царского благоволения к нему, чтобы заикнуться не о себе, а о другом несчастном, упавшем! Черта истинно русская. Вспомни только то умиленное зрелище, какое представляет посещение всем народом ссыльных, отправляющихся в Сибирь, когда всяк несет от себя — кто пищу, кто деньги, кто христиански-утешительное слово. Ненависти нет к преступнику, нет также и донкишотского порыва сделать из него героя, собирать его факсимили, портреты, или смотреть на него из любопытства, как делается в просвещенной Европе. Здесь что-то более: не желанье оправдать его или вырвать из рук правосу-

дия, но воздвигнуть упавший дух его, утешить, как брат утешает брата, как повелел Христос нам утешать друг друга. Пушкин слишком высоко ценил всякое стремление воздвигнуть падшего. Вот отчего так гордо затрепетало его сердце, когда услышал он о приезде государя в Москву во время ужасов холеры<sup>14</sup>, — черта, которую едва ли показал кто-нибудь из венценосцев и которая вызвала у него сии замечательные стихи:

Небесами  
Клянусь: кто жизнью своей  
Играл пред сумрачным недугом,  
Чтоб ободрить угасший взор, —  
Клянусь, тот будет Небу другом,  
Какой бы ни был приговор Земли слепой<sup>15</sup>.

Он умел также оценить и другую черту в жизни другого венценосца, Петра. Вспомни стихотворенье «Пир на Неве»<sup>16</sup>, в котором он с изумленьем спрашивает о причине необыкновенного торжества в царском доме, раздающегося кликами по всему Петербургу и по Неве, потрясенной пальбою пушек. Он перебирает все случаи, радостные царю, которые могли быть причиной такого пиროвания: родился ли государю наследник его престола, именинница ль жена его, побежден ли непобедимый враг, прибыл ли флот, составлявший любимую страсть государя, и на все это отвечает:

Нет, он с подданным мирится,  
Виноватому вину  
Забывая, веселится,  
Чарку пенит с ним одну.  
Оттого-то пир веселый,  
Речь гостей хмельна, шумна,  
И Нева пальбой тяжелой  
Далеко потрясена.

Только один Пушкин мог почувствовать всю красоту такого поступка. Уметь не только простить своему подданному, но еще торжествовать это прощение, как победу над врагом, — это истинно Божеская черта. Только на небесах умеют поступать так. Там только радуются обращению грешника еще более, чем самому праведнику, и все сонмы невидимых сил участвуют в небесном пиршестве Бога. Пушкин был знаток и оценщик верный всего великого в человеке. Да и как могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всех наших писателей? Замечательно, что во всех других землях писатель находится в каком-то неуважении от общества, относительно своего личного характера. У нас напротив. У нас даже и тот, кто просто кропатель, а не писатель,

и не только не красавец душой, но даже временами и вовсе подленек, во глубине России отнюдь не почитается таким. Напротив, у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим. В одной из наших губерний, во время дворянских выборов, один дворянин, который с тем вместе был и литератор, подал было свой голос в пользу человека, совести несколько запятнанной, — все дворяне обратились к нему тут же и его попрекнули, сказавши с укоризной:

«А еще и писатель!»

## **В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность**

Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень много своего. Самородный ключ ее уже бил в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. Струи его пробиваются в наших песнях, в которых мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унести куда-то вместе с звуками. Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображенья, чтобы составить животрепещущее слово, которое проникает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое. Струи его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пастырей — слове простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас услаждающая; так же, как и строение нынешнего нашего гражданского порядка произошло не из начал, уже пребывавших прежде в земле нашей. Гражданское строение наше произошло также не правильным, постепенным ходом событий, не медленно-рассудительным введением европейских